

Петросян Армен Эрнстович

доктор философских наук, независимый исследователь,
Тверь, Россия;
e-mail: moi@ins-car.ru

Умственная «слепота»
(Корни невосприимчивости к новым идеям)

Тотальное сопротивление радикальным новшествам в жизни и науке — очевидный факт. Но каковы корни этого явления? Прослеживая логику эволюции объяснений, которые давались с конца XIX до начала XXI века, автор выявляет их внутренний «стержень» и показывает, что они укладываются в простую матрицу, которая все больше исчерпывает свой эвристический потенциал. Чтобы решить проблему, нужно «вывести» ее истоки за пределы отдельно взятого ума, не сводя их к внешним (социальным и культурным) влияниям. Устоявшееся знание каждой эпохи, осваиваясь людьми применительно к выполняемым ими задачам, обусловливает существенное единообразие строя мысли, называемое ментальностью. Именно в ментальности и следует искать непосредственные корни невосприимчивости к новому.

Ключевые слова: нерасположенность к новому, противодействие новшествам, невосприимчивость новых идей, матрица объяснений неофобии, человеческая ментальность.

Общеизвестно, что радикально новые идеи пробивают себе дорогу с большим трудом. Лишь в редчайших случаях они сразу же приобретают сторонников. Чаще всего глубокие прозрения наталкиваются на жесткое сопротивление, и не только со стороны невежественных людей, не способных понять значение нового, но даже просвещенных, подлинных знатоков своего дела.

В конце прошлого века К. Лиллехеи (Lillehei), один из пионеров в области хирургии на открытом сердце, высказал удивление по поводу парадокса, выражающегося в «ножницах» между «нашей приверженностью новым идеям», с одной стороны, и «противодействием их принятию», с другой. Опираясь на собственный опыт и практику своих коллег, он пытался выявить истоки отторжения нового. Среди факторов, подпитывающих эту склонность, назывался, в частности, некий «врожденный скептицизм в отношении всего нового».

По-видимому, Лиллехеи интуитивно понимал, что в самом уме существует некая сила, которая заставляет человека отворачиваться от неизвестного и неожиданного. Однако он не вдавался в детали и не стремился вскрыть механизм сопротивления переменам в привычках или в поведении. И потому ему ничего не оставалось, как посоветовать новатору, жаждущему успеха в своем деле, заранее ожидать противодействия и даже пытаться воспользоваться им в продвижении своих идей (Lillehei, 1995). Но без «зондирования» причин и движущих сил сопротивления новому эти слова звучат всего лишь как благое пожелание или же совет бывалого человека.

В самом деле, кажется неразрешимой загадкой то, что как отдельные люди, так и целые человеческие сообщества столь часто отвергают даже те новые идеи, которые, как оказывается, приводят, в конечном счете, к огромным завоеваниям и удобствам.

Почему люди во все времена и во всех областях знания выказывают стойкое неприятие нового? Почему и каким образом самые просвещенные умы проявляют невосприимчивость к нему? И почему они страдают умственной «слепотой» тем сильнее, чем более новыми оказываются идеи, с которыми они сталкиваются?

Феномен «слепоты»

Неприятие новых идей не просто повсеместно. Оно вплетено в ткань человеческой жизни и пронизывает собой все, что происходит в обществе. Это давно уже никого не удивляет. Поражает другое. «Слепота» столь же присуща и умам, работающим на передовых рубежах науки, то есть там, где, казалось бы, весь смысл и предназначение деятельности заключается в создании нового знания. Такова реальность не только отдаленного прошлого, но и самого последнего времени.

Когда Э. Ферми (Fermi) направлял свою фундаментальную статью по бета-распаду в “Nature”, один из старейших и наиболее уважаемых журналов в области естествознания, он, конечно же, вполне допускал, что ее могут отвергнуть. Однако едва ли ему приходило в голову, что материал «забракуют» по причине его отрыва от научной «почвы». Редакторы сочли, что рукопись «спекулятивна» и «слишком далека от реальности». В результате статья была сначала опубликована на итальянском и немецком языках и только в 1939 году, когда Ферми присудили Нобелевскую премию, те же редакторы нашли возможность выпустить ее у себя на английском.

Г. Бинниг (Binnig) и Г. Рорер (Rohrer), которые придумали сканирующий туннельный микроскоп, потерпели неудачу в своих попытках опубликовать в более или менее солидном журнале письмо, излагающее его структуру и действие. Между тем именно за это изобретение они в 1986 году были удостоены Нобелевской премии по физике. Значит ли это, что их ученые коллеги были не в состоянии уловить то, что несколько позже стало очевидным для широкой публики?

В 1965 году «Журнал химической физики» (“Journal of chemical physics”) решительно отклонил статью, в которой Р. Эрнст (Ernst) развивал идеи, принесшие ему в 1991 году Нобелевскую премию по химии. По мнению редакторов, они были недостаточно оригинальны, чтобы появиться в столь уважаемом издании. И ученому пришлось отправить свой материал в менее солидный журнал “Review of scientific instruments”.

Наконец, еще один, более свежий и поразительный пример. Несколько десятилетий назад считалось, что среда внутри желудка почти что стерильна. Присущая ей высокая кислотность не оставляет микробам возможности для выживания. И когда в 1980-х годах минувшего столетия австралийские исследователи Б. Маршалл (Marshall) и Р. Уоррен (Warren) обнаружили там микроорганизмы и, более того, предположили, что именно ими вызывается язва, это открытие не встретило понимания. Однако совсем недавно, в 2005 году, им обоим «выписали» Нобелевскую премию.

Снова научное сообщество, не моргнув глазом, совершило разворот на 180 градусов. Те же люди, которые прежде блокировали эту идею, с не меньшим энтузиазмом принялись ее пропагандировать. Но остается впечатление, что случись нечто подобное еще раз, они вряд ли встанут на защиту нового и, скорее всего, опять предпочтут уже известное и привычное.

Столь демонстративное небрежение новыми идеями, которые впоследствии оказываются вполне здравыми и получают убедительные практические подтверждения, выглядит чем-то поразительным и невероятным. И вполне естественно, что многим оно кажется наглядным проявлением человеческой глупости. Однако можно ли приписывать ее глубоким и проницательным людям, выказывающим излишнюю недоверчивость к необычным мыслям и неожиданным прозрениям? Ведь бдительность и настороженность коренятся в самой природе человеческого ума.

Давно замечено, что те, кто изучает распространение нового, обычно существенно переоценивают его роль. Они проявляют внимание в основном к новаторам и тем, кто первыми начинают применять новшество. Что же касается его противников или тех, кто выказывает безразличие к новациям, они чаще всего остаются в тени. При этом, по словам Э. Роджерса (Rogers), молчаливо предполагается, что «рассматриваемые инновации хороши и должны перениматься каждым». Считается, что все люди пытаются найти пути и способы распространения новых идей, а те, кто противодействует им, объявляются твердолобыми и неповоротливыми.

Между тем проблема носит гораздо более сложный и запутанный характер. Даже если отвлечься от того, что новшества далеко не всегда плодотворны и жизнеспособны, придется согласиться с непреложным фактом: они подходят отнюдь не каждому и не обязательно привлекают чье-то внимание. Как выразился Э. Роджерс, «многие индивиды не перенимают их для своей же пользы» (Rogers, 1965: 295). А потому в неприятии новшеств нет по большей части ни крупицы глупости. Наоборот, отклоняя то, из чего, как ожидается, нельзя извлечь никакой пользы, человек выказывает высокий уровень рациональности и здравой практичности.

Своеобразная инерция

Противодействие новым идеям, пренебрежительное отношение к ним или замалчивание их никогда не составляли тайны ни для ученых и других мыслителей, ни для историков науки и культуры. Еще в конце XIX столетия знаменитый итальянский антрополог Ч. Ломброзо (Lombroso) придумал термин «мизонеизм» (по-другому — «неофобия»), который обозначал «боязнь нового», то есть сильную нерасположенность к нему, порождаемую трудностями, возникающими при смене одного впечатления другим. Это явление рассматривалось им как своеобразная инерция, господствующая в духовной жизни человека. Оно так часто встречается как у животных, так и у детей, что может считаться даже «физиологическим свойством» (Lombroso, Laschi, 1890: 8). Подкрепив свое утверждение многочисленными примерами из разных областей человеческой жизни и деятельности, Ломброзо приходит к выводу, что, «когда инновация слишком радикальна, подавляющее большинство людей опасается ее, так как мизонеизм является законом природы» (Lombroso, Laschi, 1890: 10). Однако, объявляя боязнь нового врожденным качеством человека, он, к сожалению, дает ей весьма поверхностное толкование.

Согласно Ломброзо, «гениальные ученые гневно преследуют новое и противодействуют ему, тратя огромное количество энергии, чтобы опровергнуть открытия других», поскольку «перегруженность их мозгов» не позволяет им добавить что-то

еще к существующему или потому, что «собственные идеи делают их нечувствительными к идеям других» (Lombroso, Laschi, 1890: 20). К тому же сам Ломброзо приписывает людям также «филонеизм», полагая, что вместе с мизонеизмом, как дополнительные друг другу силы, они составляют двойственный двигатель прогресса. Однако, если принять, что боязнь нового проистекает из перегруженности ума, окажется совершенно непостижимым, почему невежда страшится нового еще больше, чем ученая публика. Ведь его голова гораздо «свежее» и «свободнее» — в ней нет большого числа глубоко укорененных идей.

Несмотря на тонкие наблюдения и широкий массив фактов, собранных Ломброзо, трактовки человеческой слепоты по отношению к новому долгое время сводились к отдельным замечаниям и оценкам, редко становясь объектом особого рассмотрения. Что же касается корней этого явления, то они и вовсе не попадали в сферу познавательных интересов. Лишь несколько десятилетий спустя, в связи с изучением развития человеческой культуры, такого рода объяснения стали приобретать отчетливые черты. Но и они не слишком приближали к глубокому осмыслению явления.

Неприятие нового, выказываемое, в том числе, и творческими людьми, рассматривалось не просто как свойство человеческого ума, но, прежде всего, как характеристика культуры в целом. Так, американский социолог У. Огберн (Ogburn) замечал, что трудности, связанные с выдвижением изобретений и их внедрением, и та легкость, с которой переоценивается старая культурная форма, «объясняют поразительную устойчивость культуры». Однажды возникнув и продемонстрировав свою полезность, культурная форма «продолжает существовать, пока не вытесняется каким-либо изобретением или же не утрачивается по той или иной причине» (Ogburn, 1928: 159–160). Новый запрос появляется на фоне применения прежних форм, и для любого человека проще пересмотреть их, нежели создать новую. А потому люди сопротивляются этим влияниям — как внешним, так и внутренним.

Чтобы прояснить свою позицию, Огберн обращается к понятию культурной инерции, введенному антропологом Р. Лоуи (Lowie), который изучал основы этнической жизни. Оно подразумевало «стремление некоторой предсуществующей культурной особенности естественного развития сохранять себя» (Lowie, 1917: 59). Но Огберн не соглашался с тем, что готовность людей перенять новшество непременно влечет за собой их неспособность усвоить его. Он переносил причины трудностей, связанных с ассимиляцией новшества, в культурную плоскость. Ведь когда стороннему наблюдателю кажется, что культура эволюционирует слишком медленно, это вовсе не значит, что дело будет выглядеть точно так же для человека, находящегося внутри нее. Чем теснее увязывается некоторая черта с другими частями культуры, тем труднее она поддается изолированным модификациям.

Однако понятие инерции само по себе не в состоянии объяснить разрывы в культурном развитии. В действительности, наряду с незначительными новшествами, лишь слегка изменяющими устоявшиеся формы, встречаются и такие, у которых нет очевидных «прообразов» в прошлом. И, тем не менее, многим из них удается не просто сохраниться, но и, в конце концов, вытеснить старые формы из повседневной жизни. Почему же инерция — внутренняя (психологическая) или внешняя (социокультурная) — не мешает такого рода новшествам возникать и закрепляться? К сожалению, этот вопрос остается в тени.

Между личным и социальным

Проблема неприятия нового привлекала к себе лишь спорадическое и эпизодическое внимание вплоть до середины прошлого века, когда она стала предметом развернутых дискуссий, а ее рассмотрение начало приобретать обстоятельный и систематический характер. В числе первых, кто подверг ее подробному анализу и представил в довольно широком контексте, был У. Беверидж (Beveridge). Отталкиваясь от того, что в каждом человеке есть психологическая склонность сопротивляться новому, он пытался разобраться в ее основаниях. С одной стороны, Беверидж ссылался на «врожденный импульс», названный им «стадным инстинктом», который «заставляет человека сообразоваться в определенных пределах с общепринятыми традициями и противодействовать любому значительному отклонению от наиболее распространенного поведения или идей, допускаемому остальными членами стада» (Beveridge, 1957: 109). С другой стороны, предполагалось, что «инновации встречают возражения, поскольку они создают слишком большую опасность для укоренившегося влияния и «законных» интересов» (Beveridge, 1957: 111). А если учесть, что новаторы обычно не очень искусны в дипломатических играх и, как правило, не проявляют подобающего такта в отношении своих коллег, менее склонных к новациям, станет ясно, почему новшества не признаются даже тогда, когда «почва», на которой они зиждутся, весьма тверда и устойчива.

Таким образом, сопротивление новому обусловлено, по Бевериджу, как личными (внутреннее предубеждение), так и социальными (человеческие отношения) факторами. Но в любом случае они носят преимущественно индивидуальный характер. Так, даже когда большинство ученых смеется над новшеством или пренебрегает им, некоторые из них идут наперекор господствующей тенденции. Стало быть, предрасположенность к отказу от того, что не похоже на привычное, «гнездится» в самих индивидах, зависит от степени их внутренней готовности принять необычное, которая, в свою очередь, формируется по ходу жизни.

Несколько десятилетий спустя Т. Гоулд (Gold) продолжил линию, намеченную Бевериджем. В конце 80-х годов прошлого века он предпринял еще одну попытку найти корни противодействия новым веяниям в науке. Он был убежден в том, что «всякий раз, когда устоявшиеся идеи принимаются некритически, а противоречащие им свидетельства отметаются и замалчиваются как непригодные», науке грозит большая опасность (Gold, 1989: 103). Но его взгляды тоже оказываются на поверку довольно наивными.

Гоулду казалось, что ученый сам по себе непредвзят и беспристрастен. Однако, поскольку тот руководствуется, помимо любознательности, еще и соображениями карьеры, финансовыми интересами и т. д., его суждения приобретают все более размытый характер. Он все дальше отходит от своего идеала и тем самым расходится с точкой зрения науки. Более того, как только научное сообщество в целом попадает во власть подобных мотивов, оно фактически оказывается в тупике. Но что именно мешает исследователям принять новые идеи, опирающиеся на прочный научный фундамент? Гоулд ссылается на два основных фактора, воспроизводя во многом постулаты Бевериджа. Первый из них и наиболее очевидный — это «нежелание усваивать новое». Но еще важнее второй — «стадный инстинкт». Восходя к родовому строю, он заставляет людей «идти одним и тем же путем вместе со всеми» (Gold, 1989: 105). Но почему для них неприемлемы непривычные мысли, и как «стадный

инстинкт» принуждает их к отсечению того, что не вяжется с господствующими представлениями? Это никак не разъясняется.

Бесхитростность гоулдовских доводов проявляется наиболее отчетливо, когда он «выписывает» рецепт избавления новых идей от риска быть отвергнутыми. Предусматривается создание «научного суда, где выслушивались бы различные точки зрения, аргументировались бы сторонниками каждой из них, с их тщательной проработкой» (Gold, 1989: 111). При этом роль судей должна отводиться не узким специалистам, а наиболее знающим и компетентным ученым из других областей, способным вникнуть и понять содержание того, что выдвигается.

Но чем этот «суд» отличается от «стандартных» процедур одобрения новых идей? Даже если отодвинуть в сторону проблему его организации, вряд ли удастся избежать вопроса о том, что может заставить людей углубиться в суть дела и тем более оценить идею так же, как это сделал бы тот, кто ее предложил. Что же касается привлечения посторонних лиц, прямо не заинтересованных в судьбе идеи, оно тоже весьма сомнительно. С одной стороны, чрезвычайно трудно заранее определить, где заканчиваются концептуальные интересы ученого с широкими взглядами. А с другой — если такой человек и вправду далек от предмета рассмотрения, не имея к нему никакого касательства, он едва ли будет полезен в оценке идеи, так как от него неизбежно ускользнут невидимые нити, соединяющие ее с соседствующим с ней знанием.

От индивидов к сообществу

Акцентировка на социальной проекции сопротивления новым идеям получила поддержку у Т. Куна (Kuhn). Он настаивал, что решение о принятии какой-либо принципиально новой идеи (парадигмы) или ее отвержении держится не на логических рассуждениях или объективных фактах. Оно «должно основываться не столько на прошлых достижениях, сколько на будущих перспективах». Иначе говоря, такое решение «может опираться только на веру» (Kuhn, 1970: 157–158). Более того, по Куну, само научное сообщество предстает в качестве коллективного субъекта и выносит свои вердикты в рамках устоявшихся норм деятельности. Выбор между парадигмами воспринимается как совместное решение.

Вывод, устраивающий одного отдельно взятого ученого, «не может быть просто личным», а подлежит одобрению многими. При этом группа людей, согласных с ним, «не извлекается в произвольном порядке из общества как целого». Она представляет собой «хорошо определенное» сообщество, состоящее из «коллег-профессионалов», которое приобретает статус «исключительного арбитра» в том, что касается профессиональных достижений (Kuhn, 1970: 168). Такого рода сообщества становятся «производителями и обоснователями научного знания» (Kuhn, 1970: 178). В действительности они превращаются в самостоятельных познавательных субъектов.

В то же время, Кун отмечает, что число сторонников крупной инновации растет постепенно. Вначале вокруг нее образуется небольшое ядро. Те, кто вовлечен в этот круг, лелеют надежду, что она позволит им продвинуться дальше на профессиональном пути. Затем к ним присоединяются большие группы других ученых. И наконец, научное сообщество в целом, обратившись в новую веру, приходит к согласию относительно этой идеи, которая как нечто уже усвоенное становится

частью общепринятого знания. Так что сообщество «всегда рано или поздно перестраивается как единая группа» (Kuhn, 1970: 133). В результате сама новая идея превращается в путеводную нить дальнейших исследований.

Однако главные вопросы так и не получают удовлетворительных ответов. Что удерживает подавляющее большинство ученых от непосредственного принятия новшества, и почему они впоследствии меняют свое отношение к нему? Если идея оценивается научным сообществом как целым, то почему его отдельные члены признают новшество в разное время и по-разному? Каковы «пружины», вынуждающие их действовать как самостоятельные «единицы»?

Очевидно, Кун и сам отдавал себе отчет в том, что его концепция в действительности не объясняет реальной практики одобрения новых идей. Недаром позднее он подкорректировал свой взгляд на роль сообществ в освоении нового знания. По его утверждению, «у групп нет иного опыта, кроме того, которым обладают все их члены». Отсюда нет такого опыта, «который все члены научного сообщества должны разделять в ходе революции». Подобный переворот в науке «следует описывать не в терминах группового опыта, а в терминах разнообразного опыта отдельных членов группы». Более того, «самому этому многообразию выпадает играть существенную роль в эволюции научного знания» (Kuhn, 1993: XIII). Но в чем именно состоит это различие в исследовательских установках, и как оно влияет на развитие науки — по-прежнему остается загадкой.

Трактовка научного сообщества как единого целого была весьма близка и М. Полани (Polanyi). Он пытался разобраться в причинах долгого неприятия его собственной теории адсорбции газов и пришел к выводу, что новшества оцениваются в действительности не индивидами, а исследовательскими группами. Именно они решают на основе консенсуса, какие идеи могут быть одобрены, а какие — подлежат «выбраковке».

К тому же Полани возвел консенсус в ранг своего рода власти, которая фактически предопределяет основные направления деятельности исследовательской группы. Подразумевалось, что она, в конечном счете, меняет свою позицию, когда удается ее переубедить. Вот почему, по мнению Полани, каждый, кто претендует на признание, должен предпринять усилия, чтобы повлиять на коллег, демонстрируя им, что предложенное новшество — в общих интересах и оно способно помочь им в их собственных начинаниях (Polanyi, 1963). Это хитроумный способ внушить потенциальным оппонентам приверженность тому, что предположительно должно вызвать с их стороны только сопротивление.

Социальная подоплека противодействия новшествам в науке была еще отчетливее высвечена Р. Мертоном (Merton). Он заметил, что академический ранг исследователя чувствительным образом сказывается на приеме, оказываемом научным сообществом его идеям. Гипотезы, выдвигаемые именитым ученым, получают гораздо больше внимания и поддержки, чем те, которые исходят от менее известного или не облеченного регалиями специалиста.

Это явление, названное Мертоном «эффектом Матфея» (Merton, 1968), частично объясняет трудности, с которыми сталкивается новое знание. Поскольку наука является социальным институтом, а результаты исследования и открытия принимаются и одобряются членами сообщества, новатору следует, по крайней мере, заставить их вникнуть в предложенную идею. Но беда в том, что новшества выдвигаются, главным образом, молодыми людьми или теми, кто, несмотря на возраст, является

сравнительным новичком в своей области. В то же время, ключевая роль в научном сообществе принадлежит опытным профессионалам, успевшим приобрести высокое положение и не желающим подвергать его риску.

Энтузиазм энергичных и «жаждущих» членов сообщества наталкивается на консерватизм респектабельных «старожилов», не заинтересованных в продвижении идей, способных подорвать с таким трудом завоеванные позиции. Вот почему они сопротивляются инновациям всеми доступными способами. А поскольку возможностей манипулирования «общественным мнением» у них гораздо больше, создатели нового знания имеют крайне мало шансов на быстрое и всеобщее признание.

Это предположение вскоре получило эмпирическое подтверждение. Так, выяснилось, что ссылки на публикации распределяются в соответствии с формулой, производной от «эффекта Матфея»: чем значительнее «вес» ученого, тем выше — при прочих равных условиях — его шансы получить немедленное признание. Анализ одной выборки публикаций американских физиков показал, что материалы, принадлежащие лицам с высокой репутацией, упоминались в течение первого года после выхода в свет значительно чаще остальных работ примерно того же качества, измеряемого по числу последующих ссылок. Кроме того, молодые исследователи, еще не успевшие составить себе имя в науке, сильно «выгадывали» от работы в организациях, которые пользовались авторитетом в профессиональных кругах. Результаты, полученные этими новичками, распространялись по существующим каналам научной коммуникации гораздо стремительнее, чем работы, выполненные в периферийных университетах (Cole, 1970).

Казалось бы, проблема естественным образом переходит в социологическую плоскость. И нужно лишь реформировать отношения между людьми внутри научного сообщества — и сопротивление новым идеям удастся существенно смягчить, если не сказать — подавить. Но такая убежденность, к сожалению, не учитывает внутренние «пружины» человеческого ума, оказывающие влияние на отношение к новациям.

Разумеется, картина, нарисованная Полани и Мертоном, выглядит довольно реалистичной. В целом она отражает внутренние тенденции науки как социального института. Но, будучи оторван от структуры знания, с одной стороны, и от человеческой ментальности — с другой, узкосоциологический подход не способен ответить на простейшие вопросы. Например, почему, когда сообщение Рентгена об открытии Х-лучей было встречено насмешками со стороны не только заметных, но даже и самых посредственных физиков, Дж. Дж. Томсон, исследователь из первого ряда, не стал разделять общее недоверие? Или из чего исходил лорд Рейли, другой ученый с именем, когда он поверил Беккерелю, что соли урана испускают лучи, хотя все вокруг решительно отвергали это казавшееся им сомнительным утверждение?

Более того, столь односторонний взгляд никак не сообразуется с неоспоримым фактом постоянного обновления знания. С этих позиций трудно понять, как новые идеи, вопреки всему, распространяются и закрепляются и, в конечном счете, встраиваются в тело уже принятого знания. Стало быть, социологический подход к освоению новых идей хорош лишь как дополнение к выявлению механизма развития самого знания и особенностей человеческого ума. В конце концов, первая и, быть может, самая важная фаза борьбы между новым и старым протекает не в рамках социального общения, а внутри творческого ума. Он устанавливает свои собственные пределы допустимости для идей, которые находят какие-то основания в устоявшемся знании. То, что происходит потом, в научном сообществе, является всего лишь эхом, хотя и значительно усиленным, этого внутреннего конфликта.

В «паутине» знания

Склонность к переоценке социальных условий, определяющих отношение к инновациям, казалась неприемлемой многим. И потому некоторые из них стали рассматривать другие факторы, тесно связанные с природой человеческого ума и знанием.

Одним из первых встал на этот путь Б. Барбер (Barber). В целом он продолжил курс, взятый Бевериджем, но дополнил его некоторыми весьма существенными оригинальными мазками. Не отвергая роли личных факторов в неприятии новшеств, Барбер перенес акцент на «культурные и социальные измерения — те, разделяемые и взятые за образец системы идей, и те схемы социального взаимодействия, которые также вносят свой вклад в сопротивление». Более того, его «культурный» подход переводил проблему — по крайней мере, частично — в плоскость мышления.

Среди многочисленных факторов, обусловливающих противодействие новым веяниям, включая религиозные идеи, профессиональные установки, сообщества, «школы», иерархию и т. д., Барбер выделял два вида более тонких влияний, формирующих отношение к знанию. К ним относятся, например, «базовые понятия и теории, которых придерживаются ученые в любую конкретную эпоху», а также «методологические концепции, направляющие их исследования» (Barber, 1961: 597–598). Тем самым он привлекал внимание к еще одному вектору в осмыслении неприятия новых идей. Поиск его корней велся не только среди «внешних» обстоятельств (личность ученого, человеческие отношения и т. д.), но и внутри самого знания, а также в его преломлении сквозь призму человеческой ментальности. Иными словами, он возродил интерес к чисто познавательным (когнитивным) мотивам сопротивления новому.

Тем не менее нужно признать, что барберовский подход к проблеме не отличался особой глубиной. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к его выводу относительно возможности обуздания сопротивления инновациям. Он полагал, что «могущественная норма непредубежденности в науке, объективных проверок, посредством которых часто могут обосновываться и социальные механизмы обеспечения конкуренции между идеями — новыми и старыми, — все это образует социальную систему, в которой объективности больше, чем в других общественных сферах, а сопротивления меньше». Правда, Барбер не исключал противодействия новшествам полностью; «некоторое сопротивление остается». Тем не менее, по его мнению, вполне реально «понять и тем самым, возможно, ослабить» это препятствие (Barber, 1961: 601–602).

Доводы, приведенные Барбером, звучат не очень убедительно. Они фактически приписывают всемогущество так называемым нормам науки. Стоит лишь приказать ученым «открыть» глаза пошире — и они станут неукоснительно выполнять это распоряжение. Но им вряд ли удастся подавить свои влечения и пристрастия и выказать чудеса проницательности и прозорливости.

Что касается объективных проверок, то они годятся для задач, подразумевающих скрупулезное рассмотрение предложенной идеи и «взвешивание» ее достоинств и недостатков. Но когда она отметается с порога, средства обоснования бесполезны.

И наконец, конкуренция сама по себе не может заставить ученых пристальнее всматриваться в новшества. Напротив, она лишь усиливает нежелание принимать

во внимание соперничающие идеи. И чем выше их потенциал, тем сильнее сопротивление, которое им оказывается. Вот почему мера, на которую Барбер рассчитывал как на защищающую новшества от придирок, нападок или заговоров молчания, совершенно иллюзорна.

Однако лейтмотив, прорисованный Барбером, получил дальнейшее развитие в доктрине молекулярного биолога Г. Стента (Stent). Проследив судьбу приведенного Авери доказательства того, что ДНК является наследственной субстанцией, он пришел к заключению, что иногда гипотезы отвергаются лишь по причине их «преждевременности», то есть потому, что они просто опережают свое время. Как заявлял сам Стент, он понимал под преждевременностью этого открытия то, что «никто, казалось, не был в состоянии сделать с ним что-то значительное или построить что-то на его основе, если не считать тех, кто изучал явление трансформации». Следовательно, такая идея не могла иметь «никакого влияния на общий генетический дискурс». Говоря точнее, «открытие является преждевременным, если выводы из него нельзя связать с помощью ряда простых логических шагов с современным каноническим (общепринятым) знанием».

Вместе с тем Стент настаивал, что преждевременность идеи недопустимо путать с неожиданностью. В последнем случае новое знание поддается согласованию с каноническим, хотя и может опрокинуть некоторые из его постулатов, как это случилось, например, с «обратной транскриптазой» (Stent, 1972: 84–85).

Разумеется, мысль о преждевременности некоторых открытий, отвергнутых современниками, отнюдь не нова. И в XIX веке, рассуждая о некоторых гипотезах, говорили, что необходимые условия для их правильного восприятия еще не созрели. Едва ли можно признать новым и утверждение о том, что если идея не встраивается в контекст существующего знания и потому не может быть ассимилирована, то она отбрасывается или вовсе игнорируется.

Еще в начале XVIII столетия Лейбниц утверждал, что для принятия какой-то идеи необходимо достаточное основание. Мало того, он возвел этот тезис в ранг закона логики — наряду с принципом противоречия. По его словам, «ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе, хотя эти основания в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны» (Лейбниц, 1982: 418).

В XIX веке Шопенгауэр превратил закон достаточного основания в предельную опору знания. Он подчеркивал, что отношение, выражаемое этим законом, «не допускает дальнейшего объяснения, ибо нет принципа, который мог бы объяснить принцип всякого объяснения» (Шопенгауэр, 1983: 120). По его мнению, достаточное основание есть априорная умственная сила, регулирующая упорядочение фигур опыта, и, как выражался сам Шопенгауэр, «коренится в нашем интеллекте» (Шопенгауэр, 1983: 122). Стало быть, человеческий ум не столько усматривает отношения во внешней реальности, сколько создает их и навязывает понятиям (соответственно — вещам). И все зависит от того, готов ли он распространить обнаруженную связь на предложенную идею.

Наконец, если обратиться к непосредственным предшественникам Стента, нетрудно заметить смысл «преждевременности» в бевериджевской концепции открытий, «сделанных раньше своего времени» (Beveridge, 1957: 108). Тем не менее ценность стентовского подхода состояла в том, что в эпоху, когда большинство

было увлечено социальными и личностными факторами, влияющими на восприятие открытий, он предложил вернуться к природе знания и к путям, на которых люди добиваются его приращения и развития.

Но, несмотря на интересные примеры, которые приводил Стент, и его тонкие замечания по поводу некоторых фактов, он не делал широких обобщений, если, конечно, не считать общих слов о том, что для принятия любой идеи нужно высветить логическое звено, соединяющее ее с «каноническим знанием». Какова та концептуальная цепь, которая связывает их? Как она выстраивается? Какое из звеньев может быть признано достаточным? Ведь нередко одни и те же идеи считаются какими-то группами исследователей здравыми и хорошо обоснованными, тогда как другие объявляют их бессмысленными и бесполезными, не говоря уже об огромном числе совершенно пустых понятий, находящих поддержку у весьма ученой публики. Короче, Стенту нужно было ответить на «простой» вопрос о том, где проходит граница между достаточными и недостаточными связями новых идей с «каноническим знанием». Но именно эта тема получила у него наименьшее освещение.

В начале нашего столетия появился луч надежды, что интерес думающей публики сосредоточится, наконец, на чисто познавательных корнях сопротивления новому знанию. Был выпущен обширный труд, продолжающий линию Стента и разбирающий проблему преждевременных научных открытий (“Prematurity in Scientific Discovery: On Resistance and Neglect”). Однако он вылился, в конечном счете, в простое собрание весьма интересных и содержательных конкретных примеров и исторических очерков. Разумеется, они подводят довольно прочную эмпирическую основу под концепцию преждевременных новшеств. Но, к сожалению, такой подход не позволяет выявить основания и механизм самого явления. Оно остается смутным и туманным, загадкой, которую еще предстоит разгадать.

Более того, невзирая на объявленный курс на развитие идей Стента, редактор этой книги ориентируется скорее на раскрытие социальных и личностных факторов, препятствующих признанию новых идей. Он видит два основных подхода к проблеме. Первый состоит в выявлении того, «какие простые изменения в научной политике или в социальных факторах, влияющих на такую политику, избавили бы от «задержки в признании». А второй касается того, «что бы еще здравое мог предпринять исследователь (благожелательный современный исследователь)», чтобы «побороть источники сопротивления» (Hook, 2002: 17–18). При этом он надеется вооружить тех, кто делает нынешнюю политику, перспективным видением, а самих «открывателей» — ориентирами, без которых они будут обречены на непризнание и забвение.

Однако вопрос о том, в чем заключается суть преждевременности, снова остался в тени. Является ли она первичным свойством или производна от чего-то иного, более фундаментального? Может, это всего лишь результат взаимодействия идей с контекстом, в котором они рождаются и вызревают, и потому некоторые из них оказываются преждевременными, тогда как другие усваиваются, причем одни — легко, а остальные — с большим трудом, сталкиваясь с многочисленными препятствиями, которые, в конце концов, тоже преодолеваются? На эти вопросы, к сожалению, не обращается никакого внимания.

В поисках логики

Несмотря на кажущуюся противоположность объяснений неприятия нового, которые были даны Ломброзо и Огберном, они полностью согласуются между собой в том, что касается главного. В обоих случаях это явление трактуется как своеобразная внутренняя инерция, присущая всем людям. С той лишь разницей, что Ломброзо придает ей психологический или даже физиологический характер, тогда как Огберн воспринимает ее как нечто трансперсональное — некую функцию культурных форм, окружающих человека и создающих интерьер, в котором ему приходится жить и действовать.

Но какова природа этой инерции? Какой механизм приводит ее в действие? Что именно тормозит принятие новой идеи? Эти вопросы не обсуждаются и даже не ставятся. Следовательно, вклад Ломброзо и Огберна в осмысление противостояния новому заключается не столько в решении проблемы, сколько в придании ей отчетливой формулировки, благодаря которой она стала притягивать к себе больше внимания.

Беверидж пытался соединить две крайности, очерченные его предшественниками. Он считал, что нелюбовь к новому обусловливается, с одной стороны, врожденным импульсом, вытекающим из «стадного инстинкта», а с другой — властью и интересами, которым люди вынуждены подчиняться. Это означает фактически своеобразное переплетение личностных и социальных факторов. Стремление быть «как все» как внутренний порыв направлено вовне и подразумевает столкновение с реальными условиями жизни, тогда как изначально социальные мотивы, соотнесенные с институтами и интересами, непосредственно проецируются на личность, которая, хотя и под давлением, решает по своему усмотрению, что предпочесть — новую идею или согласие со средой.

Таким образом, отношение к новым идеям в любом случае носит индивидуальный характер. Кто-то принимает их, а кто-то отвергает. Но, поскольку первооткрыватели редко отличаются конформизмом, по-настоящему новые идеи неизбежно «отбраковываются».

Гоулд практически сохраняет дихотомию «личностное — социальное». Он полагает, что люди испытывают внутреннюю неготовность к новому и поддаются «стадному инстинкту». Однако акценты расставляются им по-иному.

По Гоулду, познающий субъект сам по себе непредубежден и беспристрастен. Но под влиянием социальных обстоятельств и прозы жизни (карьера, заработок, отношения с другими людьми) он все дальше отходит от идеалов познания. Поэтому новые идеи очень часто отвергаются не потому, что они ошибочны или непродуктивны, а по основаниям, весьма далеким от заботы об истине. И чем могущественнее нормы, царящие в человеческих сообществах, тем менее радушный прием оказывается новым идеям.

Кун настаивал, что основным фактором, определяющим отношение к новому знанию, является не аргументация или свидетельство, а скорее вера, своего рода интеллектуальная установка, предшествующая восприятию новшеств. Более того, он подчеркивал, что научное сообщество является не просто самостоятельным субъектом познания, но и единой и фактически единственной реальной познавательной силой, выносящей свои вердикты в рамках существующих практик и норм. Однако

новация не принимается сразу. Она усваивается шаг за шагом, пока относительно ее достоинств не достигается консенсус.

Но почему научное сообщество, будучи единым коллективным субъектом, действует столь разрозненно и несогласованно? Почему одни его части признают новшество раньше, а другие — позже? Какие факторы определяют «очередь», образуемую отдельными индивидами при его освоении? Не значит ли это, что научное сообщество не является единым и неделимым субъектом? Быть может, оно состоит из отдельных элементов, действующих в качестве самостоятельных субъектов и принимающих в определенных пределах независимые решения?

Гораздо более глубокими и плодотворными представляются положения, выдвинутые Полани и Мертоном. Если последовательно придерживаться этих посылок и довести их до логического конца, удастся прояснить некоторые принципиальные моменты, которые обычно пребывают в тени, и раскрыть тонкие механизмы нерасположенности людей к свежим веяниям, проистекающей из социальной организации науки.

Возможность установления критерия приемлемости или неприемлемости идеи для научного сообщества превращается в своеобразную власть, позволяющую тем, в чьих руках она находится, определять судьбы своих менее могущественных коллег. Чтобы разрешить свои практические затруднения социального характера, слабые вынуждены не просто приспосабливаться к существующей иерархии, но и как-то заинтересовывать сильных, добиваться их расположения. Однако всякая иерархия имеет внутренне присущую ей склонность к застыванию и сохранению статус-кво. При этом верхние «этажи» подтягивают к себе все больше власти, тогда как нижние все дальше оттесняются от нее.

Те, кто предлагает нечто радикально новое, гораздо более мотивированы как с познавательной точки зрения, так как они пока еще жаждут знаний, так и с социальной, ибо надеются найти тем самым свое место под солнцем. Любые значительные изменения в составе знания создают для них в научном сообществе своего рода социальный лифт. Но беда в том, что «старожилы», контролирующие общественную жизнь науки и располагающие реальными властными полномочиями, ничуть не заинтересованы в коренных преобразованиях. Они успели получить от своей научной деятельности почти все, на что могли претендовать, — высокое положение в иерархии, хорошую репутацию, почетные награды и благоприятные отзывы, а главное — реальные инструменты воздействия на человеческие отношения и социальные процессы, как в самой науке, так и за ее пределами.

Между тем резкие сдвиги в составе знания чреваты подрывом благополучия «заслуженных» персон — вплоть до полного отстранения их от власти, ибо приводят обычно к переоценке вклада, внесенного ими в науку. И нет ничего удивительного в том, что они отчаянно противодействуют «выскочкам», стремящимся «засорить» науку своими претенциозными нововведениями и тем самым перевернуть ее, попутно разрушив всю сложившуюся иерархию научного сообщества.

Барбер признает роль личностных мотивов, но фактически сводит ее к влиянию знания, коренящегося в субъекте. Кроме того, он перемещает акцент на социальные и в особенности культурные факторы — устойчивые формы взаимоотношений между людьми и их совместной деятельности, — так как считает, что познание носит коллективный характер. К тому же Барбер намекает на функцию времени, в котором происходит развитие знания, подчеркивая, что необходимо учитывать не все

понятия, теории и методологические принципы, но лишь те, которые господствуют в рассматриваемый период. Но чем отличается одна эпоха от другой по своему знанию — полностью выпадает из его поля зрения. В частности, остается неясным, почему знание некоторой последующей эпохи не может трактоваться как результат кумулятивного роста знания предшествующей.

Конечно, Барбер придает когнитивным мотивам принципиально важное значение в неприятии новых идей. Однако он полагает, что соблюдение идеалов и норм познания способно избавить науку от искажений и деформаций, вызванных социальными механизмами, которые воздействуют на умы отдельных индивидов как составных частей коллективного субъекта. Но, если человек подталкивается к противодействию новым идеям какими-то мотивами за пределами познания, могут ли интересы «чистого» знания остановить его?

Как и Барбер, Стент придает субъекту познания коллективный статус. Он оставляет в стороне практически все «внешние» — личностные или социальные — мотивы и сосредоточивается на внутренних пружинах познания. По его мнению, новые идеи отвергаются ввиду их преждевременности, то есть опережения ими своего времени. Поскольку никто не знает, как воспользоваться такими идеями путем вовлечения их в собственную деятельность и устоявшиеся структуры знания, единственно возможным откликом современников является противодействие или, по крайней мере, некоторое равнодушие к ним. И наоборот — когда идея получает определенную «легитимацию» благодаря цепи, соединяющей ее с «каноническим» знанием, появляется возможность вовлечь ее в интеллектуальный оборот научного сообщества.

Однако ключевая проблема — какой должна быть эта связь между устоявшимся знанием и предложенной идеей, чтобы показаться достаточным основанием большинству современников, — так и не проясняется. А потому, как и прежде, нет ответа на вопрос, какие из познавательных факторов, обусловливающих восприятие новой идеи, заставляют людей сопротивляться ей как чему-то преждевременному, недостаточно зрелому, чтобы получить признание.

Матрица развития

Вглядываясь в объяснения, которые давались неприятию нового, нетрудно заметить определенную закономерность в их развитии. Каждое из них верно по-своему; оно сосредоточивается лишь на некоторых корнях проблемы и, наоборот, оставляет в стороне или затеняет другие факторы, не менее важные для понимания механизма явления. Более того, эти концепции возникают не в произвольном порядке. Они последовательно сменяют друг друга, и более поздняя начинается там, где заканчивается предыдущая. Что же касается стержня этого развития, то он распадается на две «ортогональные» оси, первая из которых связана с характером познающего субъекта (индивидуальный или коллективный), а вторая — со средоточием главных мотивов, обусловливающих склонность к отторжению новых идей (когнитивные — экстракогнитивные).

Результаты наблюдения за этой эволюцией можно представить в форме простой матрицы.

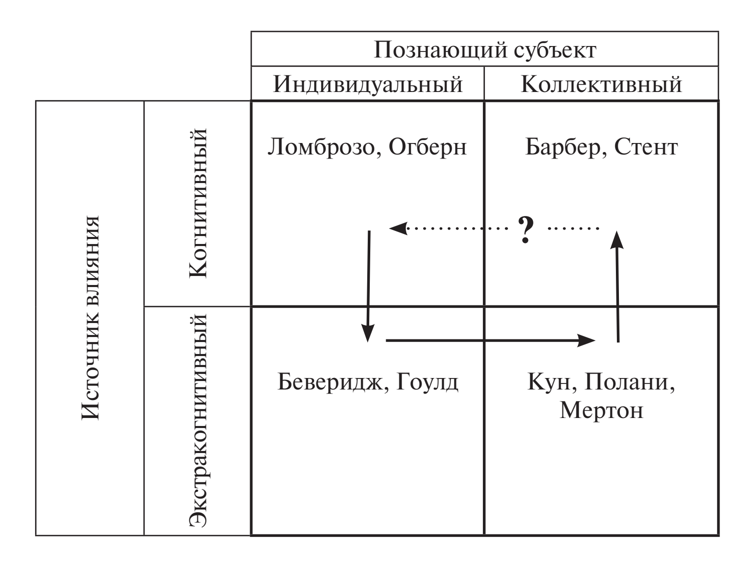


Рис. 1. Матрица объяснений невосприимчивости к новым идеям

1. Индивидуальный субъект — когнитивные мотивы. На первых порах упор делался на процесс познания, в котором ключевая роль отводится отдельным индивидам. Новое знание часто отвергается, поскольку такова природа самого познания, независимо от того, что именно лежит в ее основе — психологические или физиологические свойства людей или стабильность культурных форм, с которыми сталкиваются идеи. Так как создание нового, по существу, представляет собой приспособление старого к меняющимся обстоятельствам и требованиям, все, что радикально отличается от существующего, неизбежно отвергается или замалчивается.

2. Индивидуальный субъект — экстракогнитивные мотивы. Хотя познающий субъект сохраняет индивидуальный характер, мотивы, определяющие его отношение к новым идеям, выходят за рамки познания, которое перестает рассматриваться как нечто, изначально чуждое новым идеям. Однако по-прежнему предполагается, что оно подвержено влиянию условий, в которых субъекту приходится действовать. Вот откуда проистекает убежденность в том, что, если надлежащим образом организовать науку как социальный институт, вполне возможно обуздать тенденцию к отторжению новых идей.

3. Коллективный субъект — экстракогнитивные мотивы. Многие постепенно приходили к выводу, что мотивы, влияющие на прием, оказываемый новшеству субъектом, лежат за пределами самого познания, ибо ни один индивид не может быть самодостаточным. В качестве познающего субъекта предстает не отдельный человек, а целый коллектив (научное сообщество). Каждый из его членов является всего лишь его составной частью. И в этом смысле он, конечно же, зависим от устремлений и приоритетов своих коллег. Сообщество представляет собой не столько людей, объединенных в сплоченный коллектив, сколько внутри себя дифференцированное целое.

4. Коллективный субъект — когнитивные мотивы. Познающий субъект рассматривается как коллектив. Однако он претерпевает определенную модификацию. Отдельному человеку отказывается в праве быть самостоятельным субъектом по

другому основанию — он не может познавать, не овладевая уже существующим знанием. Любой индивид мыслит в рамках усвоенных им понятий и представлений и добавляет к ним результаты, полученные в ходе его собственного интеллектуального труда. Что же касается непризнания принципиально новых идей, оно вызывается не зависимостью познания от посторонних факторов, а скорее пробелами и разрывами, отделяющими новую идею от базового знания, направляющего работу человеческого ума. Когда не удается протянуть между ними концептуальную нить, идея отбрасывается как бессмысленная и бесполезная, то есть не имеющая никакой ценности для коллективного субъекта.

Таким образом, круг почти замыкается. Объяснение неприятия новых идей возвращается к когнитивным мотивам — с той лишь разницей, что индивид, который вначале полностью господствует как субъект в процессе познания, теперь включается в контекст устоявшегося знания и тем самым перестает быть самодостаточным и воспринимается как одна из его персонификаций. Это значит, что потенциал матрицы, «задающей» логику этого развития, уже полностью исчерпан. Тем не менее механизм неприятия нового во многих отношениях остается нераскрытым.

Все объяснения этого феномена, предложенные в течение прошлого столетия, вращаются вокруг одной и той же системы координат. Практически невозможно найти альтернативные концепции, которые нельзя было свести, в конечном счете, к одной из этих четырех схем. Разумеется, какие-то незначительные вариации встречаются. Однако они не преступают рамок, обозначенных матрицей.

Так, недавно Х. Кампанарио (Campanario) показал, что сопротивление концептуальным изменениям со стороны студентов сильно напоминает поведение зрелых ученых. Казалось бы, отсюда недалеко до вывода о том, что неприятие новых идей является универсальным свойством человеческого ума и следует сосредоточиться на его углубленном изучении. Но, видимо, решено было пойти по более простому, проторенному пути.

Кампанарио объясняет это явление на основе принципа «когнитивной экономии». Он заявляет, что «новые концепции принимаются, когда они правдоподобны для учащихся» (Campanario, 2002; 1096). Что же касается причин противодействия новому, к ним причисляются те, что постоянно приводятся и другими, — ошибки в суждениях, сопротивление изменению парадигмы, метафизические и религиозные понятия, принципы проведения исследований, упрощенные представления, профессиональное соперничество, личные качества ученых и т. д. (Campanario, 2002: 1101–1105). Но не растолковывается, почему исследователи, имеющие сложившиеся концептуальные ориентации и вовлеченные в существующую коммуникационную систему науки, оказывают новым для них идеям такой же прием, как и студенты, которые еще не успели сформировать собственного видения изучаемого предмета и не вплелись в социальные отношения внутри научного сообщества.

Более того, в последнее время попытки как-то объяснить противодействие новому встречаются еще реже, чем прежде. Создается впечатление, что стремление понять это явление зашло в тупик. Осмысление его в рамках «сложившейся» матрицы кажется весьма затруднительным, но, похоже, пока не видно и выхода. Эта матрица превратилась в некое подобие поля тяготения, сдерживающего полет мысли, и, чтобы пересилить его, нужен особый толчок, способный придать умам некоторое ускорение, которое помогло бы им выбраться из этой сковывающей системы координат.

Что могло бы послужить таким ускорителем? Как преодолеть противопоставление индивидуального коллективному и когнитивного экстракогнитивному? Как примирить их между собой? Словом, где искать глубинные корни явления?

Вместо заключения: ментальность как ключ к разгадке

Хотя мотивы неприятия новых идей носят изначально когнитивный характер, их нельзя свести к чему-то личному. Они выходят далеко за рамки индивидуального ума.

В качестве непосредственного субъекта познания выступает индивид. Но он, конечно же, подвержен влияниям, приходящим извне, которые, переплетаясь друг с другом, составляют определенную сеть, охватывающую отдельных людей и связывающую их воедино. Она располагается за пределами индивидуальных умов, но не сводится ни к социальным взаимодействиям, ни к культурным формам, в которых протекает познание. Эта сеть трансперсональна по своей сути, хотя индивиды, конечно же, каким-то образом впитывают устоявшееся знание, чтобы приобрести возможность осваивать мир. Можно сказать, что «паутина» знания представляет собой своего рода трансперсональную реальность, противостоящую субъекту. Она усваивается им наряду с объективным миром, воспроизводясь в сознании и позволяя глубже проникнуть в закономерности этого мира.

Вероятно, именно это обстоятельство подразумевалось К. Поппером, когда он вводил понятие объективного знания, существующего отдельно как от внешней («физической») реальности, так и от умственного «мира субъективного и личного опыта». Это знание составляет, по его мнению, некий «третий мир», который включает в себя «умопостигаемое», то есть «идеи в объективном смысле, или возможные объекты мысли». К нему принадлежат, в частности, «сами по себе теории» и «их логические отношения», «сами по себе аргументы», «сами по себе проблемные ситуации», универсальные понятия и представления вроде числа, предложения, выражающие общие истины, — такие, как «2 × 2 = 4», или даже ложные утверждения, в которые верят люди (Popper, 1972: 154–156). При этом «третий мир» никоим образом не зависит от «чьих-либо притязаний на знание». Он населен «знанием без знающего» (Popper, 1972: 109).

«Физический» мир непосредственно не взаимодействует с объективным знанием. Зато человеческий ум контактирует с ними обоими, благодаря чему обеспечивается единство бытия. Чтобы осваивать «физический» мир, познающий субъект должен для начала усвоить объективное знание, то есть «распредметить» его и применить к внешней реальности. Это означает фактически пропустить наблюдаемые явления сквозь призму представлений и понятий, извлеченных из «третьего» мира. Тем самым познание как бы расщепляется надвое, а познающему субъекту приходится иметь дело с двумя самостоятельными реальностями, у которых мало общего между собой. При этом они тесно взаимосвязаны, хотя и опосредованно, и практически невозможно управиться с одной, не затрагивая другую.

Но поскольку знание из «третьего» мира не менее объективно, чем объекты внешней реальности, которые осваиваются точно так же, как и объективное знание,

познающий субъект не столько справляется с проблемой, сколько заостряет ее. Чтобы обеспечить усвоение объективного знания, субъекту нужно создать еще один (четвертый) мир, в котором содержится «метаинформация» о третьем. И понятно, что этот ряд дополнительных миров можно продолжить до бесконечности. Стало быть, попперовская концепция «третьего мира» оказывается чувствительной к той же самой критике, которой подверг Аристотель платоновскую теорию идей. Так что было бы весьма опрометчивым представлять трансперсональную реальность концептуальных мотивов, влияющих на одобрение или отклонение новой идеи и объединяющих отдельных субъектов в тесное сообщество, как некий объективный мир, удваивая тем самым внешнюю реальность, в которой развертывается познание.

Трансперсональная реальность не является чем-то, существующим отдельно от индивидуальных умов. Она охватывает знание своего времени, которое впитывается ими и реорганизуется применительно к решаемым задачам. Устоявшиеся понятия, усваиваясь и осваиваясь людьми, формируют у большинства из них определенный единообразный строй мысли (Петросян, 2008). Однако он существует не вне умов, а как раз внутри них.

Это именно то, что можно обозначить как ментальность, характерный способ мышления, который выказывают отдельные индивиды и целые группы. Она выражает концептуальную структуру внутреннего мира, определяющего устремления, проекции и ожидания субъекта в отношении реальности, с которой тот имеет дело, играя ключевую роль в осмыслении и оценке новых идей. Вот почему как корни «болезни» (неприятия нового), так и лекарства от нее следует искать, прежде всего, в сфере ментальности.

Литература

Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 1. М.: Мысль, 1982.

Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление. Т. 1: Критика кантовской философии. М.: Наука, 1983.

Петросян А. Э. Дыхание времени: концептуальный фон эпохи // Credo new. 2008. № 1. С. 161–183.

Barber B. Resistance by Scientists to Scientific Discovery // Science. Vol. 134. № 3479. 1961. P. 596–602.

Beveridge W. I. B. The Art of Scientific Investigation. N. Y.: W. W. Norton, 1957.

Campanario J. M. The Parallelism between Scientists' and Students' Resistance to New Scientific Ideas // International Journal of Science Education. 2002. Vol. 24. № 10. P. 1095–1100.

Cole S. Professional Standing and the Reception of Scientific Discoveries // The American Journal of Sociology. 1970. Vol. 76. № 2. P. 286–306.

Gold Th. New Ideas in Science // Journal of Scientific Exploration. 1989. Vol. 3. № 2. P. 103–112.

Hook E. B. A Background to Prematurity and Resistance to "Discovery"// Prematurity in Scientific Discovery: On Resistance and Neglect / ed. by E. B. Hook. Berkeley; L. A.: University of California press, 2002. P. 3–21.

Kuhn Th. S. The Structure of Scientific Revolutions. 3d ed. Chicago: The Chicago University Press, 1970.

Kuhn Th. S. Foreword // Hoyningen-Huene P. Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas Kuhn's Philosophy of Science. Chicago: University of Chicago press, 1993. P. XI–XIII.

Lillehei C. W. New Ideas and their Acceptance. As it Has Related to Preservation of Chordae Tendinea and Certain other Discoveries // The Journal of Heart Valve Disease. 1995. Oct. 4. Suppl. 2. P. 106–114.

Lombroso C., Laschi R. Il delitto politico et le revoluzioni: In rapporto al diritto, all'antropologia criminale ed alla scienza di governo. Torino: Fratelli Boca, 1890.

Lowie R. H. Culture and Ethnology. N. Y.: Douglas C. McMurtrie, 1917.

Merton R. K. The Mathew Effect in Science // Science. 1968. Vol. 159. № 3810. P. 56–63.

Ogburn W. F. Social Change with Respect to Culture and Original Nature. N. Y.: The Viking Press, 1928.

Polanyi M. The Potential Theory of Adsorption: Authority in Science Has its Uses and its Dangers // Science. 1963. Vol. 141. № 3585. P. 1010–1013.

Popper K. R. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford: Clarendon Press, 1972.

Rogers E. M. New Product Adoption and Diffusion // Journal of Consumer Research. 1976. Vol. 2. March. P. 290–301.

Stent G. Prematurity and Uniqueness in Scientific Discovery // Scientific American. 1972. № 12. P. 84–93.

Mental "Blindness"
(The roots of insusceptibility to mew ideas)

Armen E. Petrosyan

PhD in Philosophy,
independent Researcher,
Tver, Russia;
e-mail: moi@ins-car.ru

The total resistance to cardinal novelties in science and life is an obvious fact. But what are the roots of this phenomenon? By tracing the logic of evolution of the explanations offered for it since the end of XIX century, the author brings to light their inner pivot and demonstrates all them fitting into a simple matrix which more and more exhausts its heuristic potential. To solve the problem it needs to go beyond individual mind, but not reducing the substance to external (social or cultural) influences. The established knowledge of any epoch, being learnt by people as applied to the tasks they perform, ensures some uniformity of intellectual tune, usually named mentality. Just within the scope of mentality, the immediate roots of insusceptibility to the new are to be sought.

Keywords*:* Dislike for the new, resistance to novelties, insusceptibility to new ideas, matrix of explanations for neophobia, human mentality.